ГОЛУБЬ

Я лежу пластом второй день. Неужели это дрова? Вчера нам привезли еще один грузовик, и поленницы вышли на славу: колоссальные, как у нашего бывшего соседа в Щербачихе, Маркмаркыча, они опоясали наш дом почти до верхнего края оконных рам и благоухали так, что казалось, древесный настой можно было черпать половником.

Сегодня, спустя много лет, я могу тебя понять, старый жадный хрыч! Бог ты мой, если вспомнить, как ты трясся над каждой щепой! Как мы ни старались незаметно стянуть пару полешков, забираясь с головой в крапивные заросли, рискуя поскользнуться на трухлявом настиле и провалиться босой ногой в черную холодную мякоть с опарышами, у нас ни разу ничего не получилось. Маркмаркыч появлялся каждый раз перед нами в выцветшей синей униформе как дозорное привидение, и мы, не дожидаясь, что будет, удирали сломя голову в сторону такого же блекло-синего «булгаковского » дома. Такую униформу, как у Маркыча, носили все мужики в деревне – Сорокины, Кругловы и Красновы. Раньше они ходили в ней на речных судах по Ветлуге, а потом сами постарели, засмолились, а их блеклые рубахи с портами превратились из речной в униформу деревенскую, щербачихинскую.

На протяжении многих лет мы удивлялись на то, как живет Маркмаркыч: бобылем, в покосившемся доме, с заброшенным садом. Иногда к нему приезжал сын, но об этом мы только слышали от Веры-магазинщицы. Сами его никогда не видели. И соседа нашего можно было увидеть крайне редко. Только по самым важным дням, когда, например, к нам приезжали из города на машинах и все громко смеялись и целовались на полянке перед домом. Или когда к самому Маркычу, тарахтя, гремя железом и сметая на пути покосившиеся заборы, молодняк калины и черную колонку и оставляя после себя жирную черную полосу свежесодранной земли, на тракторе с экскаваторным ковшом приваливался Ванька из Русенихи, чтобы «обкосить» Маркычу крапиву. В такие дни Маркмаркыч выходил на середину поляны, долго стоял, смотрел и молчал. Без малейшего движения в лице, сопутствующего какому-то интересу он просто присутствовал при событии. Мы привыкли и не обрашали на него никакого внимания.

Много лет мы не слышали от него ни одного слова и были совершенно уверены, что он немой. Только однажды случилось необыкновенное: Маркыч заговорил. Да, он заговорил, да так обыденно, что даже чуда не получилось, а вышло так, будто пальнула холостая хлопушка.

В тот день, наш дед, Александр Александрович, уже слабый, вышел на улицу, остановился на лужайке. Стараясь избежать подступающего приступа изматывающего кашля, он стоял, уперев руки в бока, и наблюдал, как соскабливает неизвестный нам русенинский тракторист травяной дерн, закатывая в него, как в одеяло, крапиву.

Мальчишка-тракторист, закончив «покос» тем, что навалял огромную земляную гору посреди поляны, заглушил мотор и стал выходить из кабинки. Он, изо всех сил вцепившись в дверцу, покачивался на ней взад и вперед и пытался в тоже время управлять мягкими непослушными ногами, которые подламывались и никак не хотели вставать на землю поочередно.   
Дед даже крякнул от горечи, наблюдая за Маркмаркычем, который согласно договоренности отдал трактористу бутылку водки. Мальчишка сделал слабую гримасу и еще что-то наподобие кивка, а потом, посмотрев водянистыми глазами на деда, сказал из вежливости:

– Ну-у-у, ка-ак д-д-дела? Ну, вооще-то?

– Устойчивей, чем у тебя, я погляжу, – ответил дед.

Тут Маркмаркыч, задетый за живое таким сарказмом, и начал говорить. Что, мол, эти пропойки из Русинихи! Что они уже с малолетства пьют, не просыхают... Голос у него был против моего ожидания не скрипучий, а слова были нормальные. Человеческие и понятные.

После этого сосед снова замолчал. И молчал несколько лет, и тенью ходил вокруг своей чернеющей и гниющей поленницы, как чахнувший над златом кощей.

Вот и я теперь не отдала бы никому ни одного полешка! Тоже дам им, моим кровным, зарасти трёхметровой крапивой, уйти в землю, отсыреть, почернеть, превратиться в труху, но не отдам ни щепки! Даже в год самый холодный, перестроечный, голодный. Сколько работы проделано!

Лежу под одеялом, и кажется, что моё гудящее тело одето в скафандр из скорлупы. В битой голове кипят раскалённые мысли, предметы и буквы переливаются перед глазами в перламутровом зное. И не дай бог крик, топот, разговор, не дай бог шорох...

\* \* \*

Мой второй больничный день проскользнул бы мимо меня незамеченным, если бы я не попросила открыть окно. От грозы не осталось ни следа, да и была ли она? Холодное солнце выдувало из осеннего леса последние полуцветные фонарики. Бурая листва запрела и пластом легла на соседский участок. Оттуда переговаривались рабочие, дружно вытаскивающие домкратом прогнившие сваи из земли. Как давно они этим занимаются: сейчас ноябрь на исходе, а уж летом мы начали и коренастого начальника, и подмастерье узнавать в лицо. Казалось, что в прошлом там стояла церковь на вековых дубах.

Сам сосед-хозяин стоял у нового бетонного забора и советовал моему мужу, как надо выкорчевывать сухую яблоню, разросшуюся кустом.

Разговор внизу не клеился, у меня не шёл сон.

Перекур вскоре все перевернул, беседа внизу оживленно потекла, и я, закрыв глаза, слушала: «...а этот как!..» – «Невероятно!» – «Да если бы дошло до пенальти...»

Сон не приходил. Я переключилась на детский перекрик, доносящийся с улицы: Иришка с Мишкой не могли поделить, кто первым будет кормить голубя.

Голубь появился у нас вместе с дровами, в тот самый день, когда их привезли. Ручной, лоснящийся, белоснежный: он с вниманием наблюдал за нашей уборкой, сидя на белом стояке забора и цепко держа его окольцованной лапкой. Наш папа утверждает, что с почтовыми голубями так и случается в грозу: они полностью теряют ориентацию, попадая в тучу. Падают камнем на землю и потом совсем не знают, куда лететь, где они и что теперь им делать. Бедный.

На дворе стояли мягкая прохлада и безветрие, обкладывать душистыми дровами дом было наслаждением, и уходить домой не хотелось, и усталость не чувствовалась. Грозовое облако подкралось и ко мне, и голубю незаметно. Хорошо, что мы оба упали в хорошие руки – мне носят в кровать шиповниковый чай, а голубю на двор – свежую воду, рубленую капусту и крошки. Наш папа даже сделал ему на ночь дом – маленький склепик из трёх битых брусничных кирпичей и потемневшей сырой доски. Наш папа утверждает, что именно так живут почтовые голуби.

Хорошо, что я не голубь, и что меня не подстерегают кошки и наши крошки на каждом углу с дикими криками, и что мне не надо ночевать в мрачном склепике. Хорошо лежать в кровати, не распыляясь на суету. И хорошо, что можно долго смотреть в окно на сереющий, уходящий в осеннюю мглу лес и знать, что ехать в город сегодня не нужно.

– Слушай, Мил, – пропел мой мобильник, – твой курс «Русский для иностранцев» в этом семестре не состоится, слишком мало народу записалось.

– Сколько человек?

– Трое. Из твоих бывших.

–Трое? А новеньких нет никого?

Да уж, иностранцы у нас совсем перевелись, кто бы мог подумать, ещё два года назад стульев в классе не хватало... Хорошо, что набралась группа детей мигрантов, желающих подштопать грамматику русского.

Я прислушалась к гулу в ногах, закрыла глаза, откинула на подушку голову. Мобильник снова пиликнул, мой милый прислал мне сообщение: «Поеду в город за голубиным кормом, тебе что-то надо?»

Я зажмурилась и перечислила про себя: орехи, шиповниковый чай, мед, яблоки, хурму, обязательно бананы.

Написала: «ничего». Мужчина всё же. Что-нибудь да забудет: или мой список, или птичий корм. Чтобы зря не расстраивать, не буду предоставлять выбора.

Окно закрыли. В доме пахло печным теплом и свежепривезённым деревом. Невольно обида вывернулась из меня и вытеснила запахи и цвета: ну почему я не голубь? Нет, правда, почему сначала голубь, а потом уже я? За голубиным кормом… Искорки запрыгали у меня перед глазами, черти закрутили плазменное варево в голове, я натянула до подбородка одеяло, свинец разлился по спине, ногам, рукам, я выдохнула под собственной тяжестью и стала проваливаться в сон. Гранью сознания ухватила шаги, глухую возню, звяканье ложкой. Потом оказалось, что кто-то разложил на моем столике порезанные бананы, яблоки, хурму и в чайной кружке размешал липовый мед.

Ну, перевелись мои иностранцы, значит перевелись. Нагрузки меньше. Сейчас она мне просто противопоказана.

\* \* \*

И снова я, не отрываясь, гляжу в окно. Ноябрьское солнце прошлось по двору скользкими равнодушными лучами и уселось в прогал между стволом старой ели и тремя сросшимися молодыми ёлочками. Провисшие еловые лапы плавились, румяные шишки светились на верхушке, как проступившие веснушки. За елями звонко желтел мой «потерянный мир» – заброшенный лесок, точь-в точь как на нас на Ветлуге, у ручья по дороге в Площаниху.

Насмотревшись, почувствовав силы, я проверила десять контрольных. На загадку, кто сидел на заборе, пел да кричал, девять студентов ответили «питух», и только последний написал, как мне показалось, после девяти «питухов», правильно. Я даже уже занесла ручку написать «молодец!», как вдруг остановилась и рассмеялась насколько было сил, вчитавшись в ответ. Там стояло «пятух».

И тут я встрепенулась, вспомнив отрадную утреннюю свежесть и корзинки для грибов с пакетиком на дне, придавленным столовым ножом. Мне необходимо иметь петуха. Если уж я стремлюсь жить по-деревенски, то без него нет правды.

– Einen Hahn? Петуха? – сказал мой любимый и хмыкнул. – Давай заведем. Только договоримся, как только я сойду с ума от его крика, мы сварим из него суп. Считай, если ты его купишь в эту пятницу, то я уже знаю, что у нас в воскресенье на обед.

– Ага, и кто же его порешит?

– Я!

– Ты? Да ты не можешь улиток отравой накормить! Божьих коровок дома ловишь и отпускаешь в саду! Нет, ты вспомни – мышь, которую Карл поймал и не успел съесть, ты увез в другой город, два часа искал ей приют, пока не нашел и с теплыми напутствиями не просунул в щели на конюшне. Как же ты – ты! – собрался свернуть шею огромной здоровой птице? Убить!

– Это не убийство, – заявил Ули, – для еды я готов на все!

Нет, я поняла, что мне как пить дать не видать здесь, в Эссене, никакого петуха.

\* \* \*

А голубь, кстати, оправился и улетел.

Вот такие пятухи.